

«А СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЛЮБОВЬ?» — СПРАШИВАЮТ ПОЖАРНИКИ

Он вышел из сутолоки вокзала и увидел пустынный прекрасный город. Было утро.

(А можно начать так: поезд, пробуждение под мерзкую музыку-побудку вагонного репродуктора, очередь в туалет, надвигающийся за окном город с нищими домами-коробками и унылой грязью... И лицо в заплеванном зеркале в вагонном туалете — помятое лицо. Овал лица — Обвал лица. И уже потом: «Он вышел из сутолоки вокзала и увидел пустынный прекрасный город».)

Было утро. Было раннее утро.

Он занял очередь на такси, и, радуясь, как ловко, расторопно он все сегодня делает, отправился звонить на студию. И сразу дозвонился.

— Диспетчер Андреева, — ответил голос.

— Я писатель.

— Кто вы? Говорите, пожалуйста, громче!

Он, как обычно, бестолково объяснил, что он — автор сценария, приехал на картину «Варенька» и что ему должна быть забронирована гостиница.

— Секундочку, — сказала женщина. — Пока, к сожалению, ничего. Но этим занимается Бродецкий. Позвоните через час.

Он огорчился. Он загадал, что сегодня у него все будет ладно с самого начала. В последнее время от частых неудач он стал суеверен. Он позвонил Режиссеру домой.

— Алло! С приездом, парень! С гостиницей в порядке? Он сразу понял, что Режиссер все знает, но ответил.

— Вот гады, — радостно сказал Режиссер. — Но вообще-то они не виноваты. Это сейчас на всех картинах такое положение с гостиницами. Конгресс какой-то.

— Я понял. Я — без гостиницы, но не потому, что не уважают твою картину.

— Парень, ты с какого года, ты с какого парохода? — засмеялся Режиссер. Эта идиотская фраза означала у него почему-то шутку.

Договорились встретиться через час. Он позавтракал и через час был на студии. В вестибюле его встречал юный брюнет с радостно-развратным лицом. Это был Второй режиссер Сережа.

— Конечно, нету?

— Но ждем его с минуты на минуту, — весело ответил Сережа.

Все было как всегда. Режиссер не спешил, да и зачем спешить? Все в порядке — автор приехал, куда теперь топиться? Он не осуждал Режиссера — снимать картину трудно и надо экономить силы. Сейчас Режиссер завтракал дома и сэкономил силы.

— Гостиницу ищут, — счастливо сказал Сережа.

— И скоро найдут?

— Скоро, — веселился Сережа. — Сам Бродецкий... занимается.

И подмигнул. Самые обычные фразы он умудрялся проносить неприлично.

В вестибюль вошел еще один юный брюнет, постарше, но все с тем же хамовато-развратным лицом:

— Похудел, помолодел, зазнался!

Он с изумлением понял, что Сережин двойник обращался к нему. Откуда-то он знал этого типа. А может быть, и не знал. Может быть, просто видел в каком-то фильме. А может быть, и не видел. Может быть, даже тип его не знал. Здесь это было несущественно. Здесь была киностудия.

— Ну, как ты? — живо поинтересовался двойник.

- Я? Ничего.
- А вообще?
- Тоже ничего.
- Ну вот и хорошо.

И Сережин двойник сложил руки загончиком, поймал его голову, и они радостно расцеловались.

— Анекдот хочешь? Летят два кирпича с крыши. Один другому и говорит: «Что-то погода сегодня плохая». А другой кирпич отвечает: «Это ничего. Лишь бы человек попался хороший». Смешно. Говорят, ты что-то хорошее написал? Я не читал, но все хвалят.

— Спасибо.

— «Спасибо» в ж. не засунешь. Ты для меня когда написать думаешь? Мне нравится, как ты пишешь. Ты пишешь — с х. м. Напиши про тренера. Ты видел этот японский фильм?

— Видел, видел.

Он боялся, что брюнет начнет пересказывать японский фильм.

— Ну где же ты? Мы все тебя ждем, а ты тут ля-ля.

В вестибюль вошел Режиссер.

— Хорошо выглядишь, парень.

Режиссер выставил руки знакомым загончиком, поймал его голову, и они радостно расцеловались.

И тотчас перед Режиссером возник Сережа-первый.

— Сережа — мировой парень, — сказал Режиссер. — Но у него — хобби: ленив, болтлив и обожает удовольствия. Чувственен до озверения. Он у нас здесь — сектор сладкой жизни. — И добавил заботливо: — Что с его гостиницей, Сережа?

— Скоро будет. Бродецкий занимается.

Потом они помчались по бесконечному кругу-коридору. На этом чертовом круге все бежали, не забывая общаться на бегу. И Режиссер тоже общался:

— Здравствуй! Автор приехал. Вытащил в кои-то веки. Смотри, как выглядит — красавец! Еще бы! Проживает сейчас на юге в городе-курорте, бары, солнце утомленное,

а мы с вами в таком климате живем — того и гляди снег пойдет... — и ему: — Главное сейчас нам с тобой переделать начало и конец. Здесь ты больше всего врешь. Ха-ха, отец, не обижайся. Здравствуйте!. Знакомьтесь. Автор — вытащил в кои-то веки На юге проживает. — ему: — Значит, о начале картины. Здравствуйте! А это — автор! Вытащил, живет на юге. Как Чехов, в ласковом солнце живет — вишь, какой кругленький, загорелый, а мы тут с вами на ладан дышим. Значит, о начале картины. Они у тебя знакомятся на эк... экс... на экска... латоре. Слово дурацкое. Но вообще-то красиво: ночь, поднимается абсолютно пустой эк... скалатор. и на нем двое. Только двое. И вот уже он познакомился с ней.

Он познакомился с ней, когда учился в университете.

Она шла впереди него в густой толпе к эскалатору.

Он сразу удивился, как прекрасно она шла, будто танцуя. Он обогнал ее, оглянулся и обрадовался прелести ее лица. Он заговорил. Когда он заговаривал с незнакомыми девушками, они или торопливо хихикали, или отвечали независимо-грубо. Но при том и те и другие заботились о производенном впечатлении. А она не заботилась.. Он рассказал ей тогда какую-то историю, прекрасную историю, которую он где-то прочитал. Он тогда много читал. А она посмотрела на него круглыми зелеными глазами и сказала:

— А я этого и не знала.

Ему было с ней легко. Сразу легко. Он проводил ее домой, и она сама его спросила:

— Когда мы встретимся?

(— Я тебя пожалела тогда в метро, ты очень смешно выпячивал грудь, когда подошел ко мне. И я сразу все про тебя поняла. Мне стало тебя жалко, потому что ты был совсем один. Один-один! А потом, когда ты меня проводил, уже не жалко. Потому что я подумала — ты и есть «кумир». — Она засмеялась. — Понимаешь, у девушки странная привычка кому-то поклоняться. И как раз перед тобою закончилась неудачная любовь. Как положено дуре, сначала девушка жить не захотела. Ну а потом. воспряла духом, все косточки

в порядок привела и дала себе слово со всеми «кумирчиками» завязать. Ха-ха-ха. Независимость и мужественность на повестке дня у девушки! И вот некстати появился ты.)

Но это все она говорила ему потом. И смеялась каким-то глупеньким смешком.

— Особенно мне не нравится ее первая фраза на эскалаторе, — продолжал наступление режиссер. — Понимаешь, это первая ее фраза! И она должна быть на сливочном масле!

Как все просто! Не будь тогда того эскалатора, и не было бы перед ним Режиссера, Сережи, этого безумного коридора и всей его нынешней жизни.

Они дошли до двери, над которой висела табличка с названием картины — «Варенька». В комнате их встретил все тот же Сережа, все так же оживленно-развратно беседовавший с молодой красавицей.

— Ты посмотри, — сказал Режиссер, — куда ни приду — всюду он! Только не в павильоне! Только не на работе!

Сережа весело хохотал.

— А это наша единственная, наша распрекрасная. Лебедь из сказки.

Девушка покраснела.

— Когда я прочел сценарий, сразу сказал себе: ну, кто может сыграть ее? Только она. А это — автор. На юге живет, купается, пока мы с вами над его сценарием уродуемся.

Вошла Женщина с никаким лицом.

— Ведите ее в павильон, через пятнадцать минут начнем.

— Платье для «Длинного дня»? — спросила женщина.

— Утверждаем.

И Актрису увели.

— Платье, конечно, хреновое, — сказал Режиссер Сереже. — Но лучше они все равно не сделают. Но тебе на это... Ты все время болтаешь, болтаешь. Ну чего ты с ней болтаешь, все равно тебе она не даст. Лишь бы не работать!

Сережа заливался смехом.

— Для его жены я — жуткий тиран. Сережа говорит жене, что я его все время вызываю на ночные съемки.

Сереза умирал от смеха.

— Сереза, ты, по-моему, надолго здесь расположился, а зря: мы ведь с автором работать пришли. Ра-бо-тать! Я понимаю, ты забыл, что есть такое понятие.

Сереза умирал от смеха.

— Так что, Сереза, сыграй в человека-неви-димку — кино про него смотрел? Про книжку не спрашиваю — здесь не читают книжек. Здесь — киностудия.

И Сереза исчез за дверью.

— Если три процента задуманного они выполняют — считай, ты счастливчик. Значит, о начале картины.

Режиссер походил из угла в угол, что означало раздумье. Он остановился у окна и зябко потер руки над батареей, как над костром, — это означало отчаяние.

— Жить не хочется и просыпаться ни к чему.

— Почему так?

— Остроумный вопрос. Ты на солнечном пляже, а я тут уродуюсь по две смены, пытаюсь воспроизвести то, что ты написал. Может быть, в повести это все как-то звучало, но когда мы начали снимать...

Это был ораторский прием. Каждый раз, когда Режиссер хотел что-то переделать в его сценарии, он начинал с трагической ноты. Это называлось «подавить противника».

— Соловейчик прочел сценарий и сказал: «Это ниже разговора». Соловейчик — петербургский интеллигент в десятом поколении. Ну, хрен с ним, с Соловейчиком. На сколько приехал? На сутки, конечно?

Вообще-то он приехал на два дня. Режиссер об этом знал, более того, они так и договаривались. Но ему вдруг стало отчего-то неудобно, и он промолчал.

— Значит, на сутки! Задержись. Работа нам предстоит с тобой большая. Речь идет о судьбе картины. В таком виде сценарий снимать нельзя. Нечестно, — режиссер кричал: — Работа предстоит огромная! — И добавил нежно: — Что ты молчишь?

Он знал, что вся огромная работа сведется к тому, что Режиссер приведет его домой и, пылая от нетерпения, про-

чет кусок текста, который сочинил сам, уже прочитал своей жене, и они с ней всласть насладились этим творением. Люди обожают заниматься не своим делом: комики пытаются быть трагиками, поэты — драматургами, драматурги — прозаиками, актрисы — играть мужские роли. Что ж тут особенного — Режиссер хотел писать.

— Что ты молчишь?

И еще он знал конец: устав от выматывающих споров, от заискивающих режиссерских глаз, от торопливых пришепетываний его жены («Умоляю, верьте ему! Он талантлив! Мне неудобно об этом говорить, я жена, но он безумно талантлив!»), он подправит самые ужасные фразы и согласится со всем, только бы уехать из этого сумасшедшего дома назад — к морю и солнцу. И Режиссер будет провожать его на поезд, они зайдут в ресторан и после на прощанье будут объясняться у поезда в творческой любви.

— Что я предлагаю, — в руках Режиссера появилась папочка. — Ну, сначала о мелочах. Мне очень понравилась такая фраза, я ее услышал в автобусе, ты ведь редко ездешь в общественном транспорте. Значит, фраза: «Хоть плохонький, да свой». И еще: «Сижу одна и кукую». И еще третья фраза. Вот черт, склероз, забыл! Но это все мелочи. Теперь главное: я не требую авторских, но то, что я придумал для финала. Когда я прочитал Вале. Ей плевать, что я муж, я слышу от нее иногда такие вещи.

— Я понял.

— Короче, мне неловко говорить, но словечко «гениально» замелькало, — режиссер засмеялся. — Итак, читаю новый финал нашей картины. Повторяю, авторских не требую.

И Режиссер замолчал.

— Ну и что же ты не читаешь?

В ход опять пошла батарея — Режиссер зябко потер руки над воображаемым костром.

— Короче: я все время думал, почему у тебя она погибла?

В комнату заглянул Сережа.

— Мы работаем! — бешено заорал Режиссер. Сережа исчез.

— Понимаешь, смерть, — это уже было доверительное шептанье. — Я пытался даже переставить эпизоды; всунуть ее гибель в начало, перед первой сценой на экска... экс-калла-торе, проклятое слово. Я все делал. И тут я пришел к выводу. сейчас ты меня убьешь. — И Режиссер прокричал: — Она не погибла! Только сразу не отрицай!

Он молчал. И Режиссер, все еще не решаясь на него посмотреть, заговорил скороговоркой:

— Она осталась жива. Финал другой. Мне рассказали недавно эпизод. Фамилии не называем. Она изменила ему, а он ее любил, любил по-страшному. — У Режиссера в глазах были слезы, он легко возбуждался. — И когда он все узнал, ворвался к ней домой и ударил ее. И при этом любил! Смертельно! И вот во время драки у нее задирается юбка. И когда он видит. Страсть! Бешеная! На грани безумия. В этом правда! Жестокая правда! Старик, какой эпизод! Они катаются по полу и... А потом опять лупят друг друга. А потом — опять. Дерутся и еб...ся! Бац! Бац!.. Какой эпизод! Вот что такое — «на сливочном масле!» Но я предлагаю другой финал — помнишь, они у тебя ссорятся перед финалом? И вот в результате бешеной ссоры они...

— Трахаются.

— Священная неясность, чувак! Два тела, точнее, тени-силуэты тел, и они не в постели, а в небе, они летят, как у Шагала, над домами, над миром! И только обнаженные руки, женская и мужская, тянутся друг к другу — но тщетно. В этом смысл того, что ты написал! А твоя катастрофа в финале — это по-детски банально! — режиссер развивал наступление. — И потому когда маразматик Соловейчик после читки задал вопрос: «Почему она погибла?» — я не мог ему ответить!

— Почему она погибла.

— Я не понимаю смысл этой смерти — это всего лишь сентиментальный Карамзин! А мне дай сливочное масло! Миры подавай! Не пойму — не могу снимать! Что ты молчишь?

Почему она погибла? И когда она погибла?

А тогда было только начало. Были просто солнечные дни, и ему нравилось, как она идет своей танцующей походкой, и как все оборачиваются ей вслед, и как она птичьи порывиста и радостно красива.

— Я не опоздала?

Она никогда не опаздывала. В крайнем случае, добиралась на микроавтобусах, на грузовичках, даже на поливальных машинах! Если в назначенный час у метро останавливалась какая-нибудь нелепая машина — это была она.

— Можешь меня чмокнуть в щечку. Нет-нет, чемоданчик не трогай. Я сама. Я потом как-нибудь нарочно устану для женственности и попрошу тебя понести. Что ты улыбаешься?

— Я не улыбаюсь.

— Нет, ты улыбаешься. У меня смешной вид, да? Просто у девушки в руках — два места: сумочка и пальтишко. Как я вышагиваю с тобой важно, ха-ха-ха! Нет-нет, чемоданчик не трогай!

Она боялась любой его помощи.

— Это не нужно девушке. Чтобы не смягчать. А то не заметишь и опять влопаешься в привязанность. А потом отвыкать трудно. Лучше подбадривать себя разными глупыми, грубыми словечками — опять же, чтобы не смягчать. А то хорошо мне — я плачу, плохо — реву, слезы у меня близко расположены, думаю я себе.

«Думаю я себе» — одно из выражений, которыми она себя «подбадривала». Другое — «ужасно».

По дороге ее посещали самые внезапные мысли, и тогда она вдруг вцеплялась в его руку и произносила, расширив зеленые глаза:

— Ужасно!

Но добиться от нее, что именно «ужасно», было невозможно. Она шла и молча шевелила губами — это она так беседовала сама с собой. А через несколько дней вдруг говорила:

— Знаешь, мне приснилось в ту ночь, что тебе стало плохо-плохо и ты остался совсем один, какой-то разорившийся, никому не нужный, «изгой», как говорит бабушка

Вера Николаевна. И я тебя так жалею, ну до слез, а помочь почему-то не могу, не пускают меня к тебе. Представляешь, мы с тобой шли тогда — и я все это вдруг так отчетливо увидела!

Но все это она говорила ему потом.

В комнату весело ввалились все те же: Женщина с никаким лицом и радостный Сережа.

— Время, Федор Федорович!

Режиссер принял величественный, таинственный вид — такими, должно быть, бывают женщины перед родами.

— Пора в павильон! Со мной пойдешь или здесь над финалом подумаешь?

— Над финалом я думать не буду. Финал будет прежний.

— Парень, так не пойдет. Я прошу тебя о минимуме — другие вообще ничего не просят. Они просто не разговаривают с авторами, они их передельвают, — Режиссер распял себя. — А я прошу! Я объясняю, почему меня жмет! Но ты...

Когда напечатали его повесть, некая критическая дама, существо некрасивое, естественно, умное и злое, сказала, яростно улыбаясь:

— Милая повесть. Можно, конечно, писать и получше, но нынче это необязательно. Восхитительна главная героиня — она святая. Это своего рода новаторство. Последние удачные жития святых были написаны в пятнадцатом веке.

Он горячился. Ответил что-то обидное. Зачем? Она была не виновата. Она никогда не любила. И ее не любили. И оттого она была так яростно деловита и с такой страстью занималась уймой важных и серьезных вещей, которые в конечном счете оказываются такими неважными и несерьезными.

А она — любила. И поэтому повесть имела успех. Ему повезло с ней. Ему попалась прекрасная она. Это самое важное, если ты стараешься писать правду. А он тогда старался.

— Если хочешь знать правду — надо переписать полсценария! — кричал Режиссер, уже стоя в дверях. Чтобы весь коридор слышал, как он управляет с автором. И как он несчастен. — Скажи что-нибудь! Роди!

— Пошел к черту.

— Пошел сам! Я не буду снимать! Снимай сам это дерьмо! Говенный святочный рассказ! И справедливо об этом писали!

— Зачем ты тогда взялся снимать?

— Потому что нечего было снимать! Понимаешь: не-чего! А хочется! А нечего! А надо! «Ам-ам» делать надо!

— Федор Федорович, в павильоне заждались, — нежно сказал Сережа. Он любил скандалы.

— Я прошу тебя, парень, — сказал Режиссер покорно и тихо, — постарайся меня понять. И не надо со мной ругаться! А то тебе что — отряхнулся и пошел, а мне снимать! Посиди, подумай, чувак. И приходи.

— Мы в седьмом павильоне, — сказал Сережа.

И все они пропали за дверью.

Эту историю он считал святой для себя. Он обещал себе не разрешать никому прикасаться к ней. И когда зазвонили телефоны с киностудий (это было ему приятно, этого он ожидал), он с достоинством отказывался. Чем больше он отказывался, тем больше разжигались страсти — таков был закон. Прошло несколько лет или несколько месяцев, как ему показалось (нет, по календарю все-таки несколько лет), и он забыл свое обещание и согласился. К тому времени он многое забыл из своих обещаний.

Дверь отворилась, и вошел Сережа. А может, и не Сережа. Может, двойник или тройник.

— Ну, как вы? — спросил лже-Сережа.

— Ничего.

— Ну, а вообще?

— Тоже ничего.

— Вот и хорошо. Наш просит привести вас в павильон. Пойдем... с заднего хода.

И засмеялся.

И он понял, что это все-таки был Сережа.

В год, когда они встретились, она окончила среднюю школу и не попала в институт. Она куда-то устроилась на работу (ему так и не сказала — куда). Потом он узнал, что